

Николай Тихонов

ЧЕРТЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

ленинградские рассказы



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

Orchids
repacked
1911

T 46
o/w

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ЧЕРТЫ
СОВЕТСКОГО
ЧЕЛОВЕКА

(Ленинградские рассказы)



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
МОСКВА — 1942 г.

84(Росзгус)/6
Т46

В брошюре напечатаны рассказы Н. Тихонова, помещенные в газете «Правда» от 6, 8, 12, 15 и 20 марта 1942 года.

43

ОМСКАЯ
ЦБ им. Ленина

МУК «Централизованная
система муниципальных
библиотек г. Омска»

О/М-1

1. ЛЮДИ НА ПЛОТУ

Пароход тонул. Его корма высоко поднялась над водой, и над ней стояла стена черной угольной пыли. Бомба ударила как раз в середину корабля и выбросила со дна угольных ям эту пыль, которая медленно оседала на головы плавающих, на обломки, на уходившую в морскую бездну корму.

Среди прыгнувших в холодную осеннюю воду Финского залива мирных пассажиров был один фотограф. Тяжелая лейка, висевшая на ремне через плечо, тянула его книзу. Тусклая зеленая вода шумела в ушах, с неба рокотали моторы немецкого бомбардировщика, разбойничьи атаковавшего этот маленький, тихий пароход, на котором не было ни одного орудия, ни одной винтовки. Были женщины и дети, старики и больные, но военных на нем не было.

Фотограф решил, что с жизнью все кончено и что мучить себя лишними движениями, собственными утопающему, не стоит. Он попытался представить себе, что это скучный и кошмарный сон, но, увы, вода попадала ему в рот, в глаза, тело странно онемело, не чувствовало холода...

Он скрестил руки на груди, закрыл глаза и постарался представить себе жену и детей в последний раз.

Смутно в сознании возникли они и пропали, как будто их размывали волны. Он нырнул с головой и пошел на дно. Но он не дошел до дна. Вода выбросила его вверх. Полузадушенный, полураздавленный волной, он оказался снова наверху и, раскрыв глаза, увидел море, усеянное человеческими головами, низкое солнце, свинцовые тучи и услышал треск пулеметов.

Это немецкий пират, проносясь над тонущими, расстреливал их.

Ему стало так противно и непереносимо, что он решил уйти снова под воду. Он опять скрестил руки, и опять тяжелая лейка, которой он дорожил, как дорожат самым драгоценным оружием, потянула его в зеленую глубину. Какая-то слабость стала проникать в тело. Ноги стали вялыми, и в голове все спуталось.

И снова волна выбросила его наверх, но он уже не раскрывал глаз, боясь увидеть новое страшное зрелище. Покачавшись с закрытыми глазами среди пенистых гребней, он был словно повален и сдавлен двумя волнами, которые как бы боролись за него, волоча его из стороны в сторону. Так они играли им некоторое время, и — странное дело — в его голове чуть прояснило.

— Это, несомненно, последние вспышки мысли, — подумал он, — это то, что называется умирать в полном сознании.

Тут его подняло стремительно вверх, и он, до сих пор не ощущавший никакой боли, почувствовал резкий удар в плечо и, открыв глаза, увидел, что его подняло рядом с плотом. Взглянув на это шаткое и жалкое сооружение, сделанное в смертельную минуту поспешно и нерасчетливо, он, окинув глазом его пассажиров, никак не осмелился попытаться вскарабкаться на него, а только схватился руками за край досок и, высунувшись из воды, вдохнул полную грудь свежего воздуха.

Освеженный, он откинул со лба мокрые волосы и стал смотреть на плот другими глазами. На плоту сидели трое мужчин и одна молодая женщина. Мужчины были мокры до нитки, молчаливы и мрачны. Они крепко вцепились в доски и не смотрели на женщину. Женщина же кричала ужасным, непрерывным голосом: то громко и пронзительно, то истощно и жалобно звучал он над пустыней моря.

Ее исцарапанные щеки и растрепанные волосы, широко открытые глаза — все говорило о последней степени отчаянья, которое уже не рассуждает. Изорванная в клочья одежда мужчин, их нахмуренные лица, крепко сжатые губы — все это было так близко от фотографа, что он невольно переводил взгляд от этой молчаливой неподвижности к судорожным движениям женщины, кричавшей так, что даже его слух, полуоглохшего подводного жителя, был оглушен этим криком.

Приподнявшись над досками, выплевывая

горькую воду изо рта, фотограф обратился к неподвижным мужчинам:

— Что вы не можете успокоить эту женщину?

На него посмотрели равнодушно и мрачно. Плот очень качало, и фотограф должен был напрячь всю силу, чтобы его не сбило под доски. Прокатившийся над его головой вал окончательно вернул ему спокойствие. Потом так приятно было держаться за твердые доски...

Он спросил, как ему показалось, громовым голосом, чтобы перебить крик женщины, рвавшей на себе одежду, смотревшей куда-то вдаль, откуда надвигался вечер:

— Кто здесь коммунист?

Крайний к нему человек посмотрел на него в упор сверху вниз и сказал: «Я...» и протянул руку, чтобы помочь фотографу взобраться на плот.

— Так что же вы, товарищ, — сказал медленно фотограф. — Женщина так кричит, надо же ее успокоить — вы, товарищ...

Тут огромная волна подбросила плот, и люди на плоту исчезли куда-то во мглу, а фотограф ушел в глубину, на которой он еще не бывал, — так тяжело ему показалось это новое нырянье.

Когда его выбросило наверх, никакого плота он поблизости не нашел, на него плыли лишь три чудные доски, которые он и облюбовал для себя. Но оседлать их было не так легко. Они скользили из рук, становились на

ребро, и тут он понял, что, если не расстанется со своей лейкой, замечательной постоянной его спутницей, доски уйдут без него в свои скитанья, а с ними и последний шанс на спасенье, так как вечер уже приближался.

Он со стоном расстегнул пряжку на ремне, и ремень соскочил с его плеча. Лейка одна пошла на дно. Через мгновение фотограф лежал на досках, прижимая к щеке их мокрые края, и вода смешивалась с его слезами. Он плакал о гибели лейки настоящими слезами...

В учреждение, где служил фотограф, пришел высокий мрачный человек со шрамом на лбу и спросил, кто здесь старший, чтобы рассказать ему о смерти фотографа, о том, что они — трое мужчин и одна женщина — спасались после потопления их парохода немецким самолетом на плоту и к нему подплыл фотограф. Он начал говорить, и тут волна смыла и унесла его в море, далеко от плота. Он встречал этого фотографа там, откуда шел пароход. Это был достойный человек и хороший работник... И в эту последнюю страшную минуту он вел себя отлично...

Тут перебили говорившего:

— Вы можете это сами сказать фотографу, так как он в соседней комнате.

— Как в соседней комнате? — закричал рассказывавший. — Он спасся?

— Спасся!

Тут позвали и фотографа. Фотограф узнал того человека, что на плоту ответил ему: «Я».

Он спросил, улыбаясь: «Ну, а как женщина? Успокоили?».

Человек со шрамом смутился, но все же ответил: «Успокоили. Взяли себя в руки и успокоили. Ваш оклик вернул нас всех к жизни. Вы так неожиданно возникли из моря и так неожиданно исчезли, что мы потом, когда спаслись, все время думали о вас и говорили. И я пришел сюда специально рассказать о вашем поведении...».

— Ну, какое там поведение,— сказал фотограф. — Вот лейка пошла ко дну, какая, если бы вы знали... Эх!

2. ПОЕДИНОК

Немецкий летчик отчетливо видел свою добычу: посреди похожего на зеленый пирог леса проходила узкая желтая полоса. Там по насыпи полз длинный состав с военным грузом, и пикировать на лес было просто незачем. Надо только подождать, когда поезд приблизится к выходу на открытое пространство между двумя лесами и тут разбомбить его спокойно и безошибочно.

Самолет развернулся, потом, проблистав на солнце, сделал еще круг и, набрав высоту, нырнул в пики. Два фонтана грязи и земли встали по обе стороны насыпи там, где полагалось быть поезду. Но когда летчик посмотрел на лес, то он увидел, что поезд, дойдя до открытого пространства, стремительно бросился назад в лес. Бомбы легли зря.

Немец сделал еще круг, решив, что теперь он уже не промахнется. Поезд мчался по открытому пространству. Откуда он мог знать, что теперь ему приготовлена встреча в лесу и тяжелые сосны повалятся на вагоны, сброшенные со своих мест гремящим ударом? Сосны упали впустую. Поезд проскочил это место. Бомбы снова были потрачены понапрасну.

Летчик выругался. Неужели этот неповоротливый, длинный, извозничий состав сможет пройти безнаказанно? Немец спикировал прямо на лес, на середину состава. Возможно, он плохо рассчитал, возможно, тут произошла какая-то случайность, но бомбы попали не в поезд, а в лес. Неуловимый состав продолжал свой путь, упрямо идя вперед.

— Спокойствие! — сказал немец. — Теперь мы поговорим всерьез.

Он стал рассчитывать, строго и внимательно озирая пространство. Его даже увлекла эта непростая охота.

Он ринулся опять из облаков к самой земле, туда, где прозрачная полоска дыма дрожала в раскаленном воздухе. Казалось, он врежется в паровоз. Но кто-то будто вынул из-под него поезд в последнюю минуту. Грохот взрыва жил еще в ушах, но было ясное ощущение: впустую. Он посмотрел вниз: так и есть. Поезд шел, не пострадав ничуть.

Немец понял, что чья-то не менее упорная воля не уступает ему, что у машиниста железный глаз, расчет удивительный и точный, что не так-то легко его поймать.

Поединок длился. Бомбы ложились впереди, сзади, по бокам поезда, но это чудовище, как называл его про себя немец, шло к станции, как будто его охраняли невидимые духи.

Поезд делал какие-то дикие прыжки, все сцепления визжали неистово, на спуске он мчался, как лошадь с закущённым мундштуком, и не лез вперед именно тогда, когда его ждали очередные бомбы. Он шел назад, останавливался, плелся шагом, летел, как стрела, — чего только не выкидывал этот скучный, длинный состав, покорный своему водителю! Бомбы рвались, как хлопушки.

Немец был в поту. Он плевал вниз и снова и снова бросался в атаку. Последний раз он угадал правильно. Поезду не спастись. Машинист впервые дал ошибку. Проклятие сорвалось с обветренных губ фашиста: бомбы все... бомбить нечем!

Тогда он прошелся вдоль поезда, осыпая его пулеметными очередями, но тут явился снова лес, какой-то дьявол подкинул его некстати, и поезд снова невредимо катил в зеленом мраке, и, казалось, его ничто не берет. Фашист обезумел. Он целил в паровоз, в этого скрытого там, за тонкой стенкой, врага, в этого страшного русского рабочего, что смеется над всем его мужеством асса и ведет свой поезд по простору полей и лесов, как сумасшедший... Пули проносились над поездом, некоторые попадали куда-то под колеса, звякали в рельсы, но поезд шел...

Немец откинулся в изнеможении. Небосияло. Была хрустальная ровная осень, чем-то

похожая на вестфальскую, далекую осень. Патроны кончены. Поединок кончен. Русский там, внизу, победил. Ударить в него всей машиной? Безумие остановить безумием? Дрожь прошла по спине фашиста.

Он снизился и с любопытством и ненавистью прошел над поездом. Он не мог видеть, что за ним следит пристальный глаз машиниста, машинист сказал только: «Что, гад, взял?».

И паровоз с презрением пересек черную тень, раздавив ее, тень вражеского самолета, распростертую на пути.

3. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Человек стоял, запыхавшись, злой и растерянный.

— Насилу вас нашел, в этой тьме и собственного дома не отыщешь,—сказал он, сшибая снег с шапки.— Это, что ли, родильный?

— Это,—сказали ему.— В чем дело, товарищ?

— В чем дело — женщина там в переулке рожает, вот в чем дело...

— А вы кто такой?

— А я прохожий. С ночной смены иду. Идемте скорее. Я покажу вам. Ну, и дела... Иду, а тут она. И никого нет, кроме меня... А я же не акушерка.

Через минуту Ирина, санитар и прохожий быстро шли по сугробам. Было очень

темно. Дома стояли, как скалы. Ни одного огонька не светилось. Вьюга мела вихри, завитки снежной пыли носились по воздуху, казалось, что улицей пробегают тени разведчиков, прозрачные, холодные, быстрые.

Они присели у сугроба, уткнувшись в спину друг другу. Равномерное, тонкое, нарастающее гуденье приближалось. Они втянули головы в плечи. Красное пламя рванулось где-то из-за угла, и грохот разрыва пронесся по улице. С одного дома слетели ледайки-сосульки и звонко разбились внизу.

— Ох, не задело бы ее! — сказала Ирина.

— Нет, она по другую сторону, ищите там, — сказал прохожий, — вот за тем фонарем и ищите. А я пошел. А то вот он как кидается сегодня. Еще пришибет.

Ирина не была специалисткой по родам. Она дежурила по приему рожениц, но сейчас нужно было идти в ночь, где рвутся снаряды, и отыскать эту рожаящую женщину, во что бы то ни стало помочь ей. Ждать тут было нечего. Никто другой на помощь не придет. Глухая ночь. Вьюга, мороз, стрельба. Над головой с лязганьем и завываньем проносились все новые снаряды. Ирина перебежала с санитаром от сугроба к сугробу и останавливалась, прислушиваясь.

Стон донесся справа. Они бросались туда, и действительно, за фонарем, как указывал прохожий, прижавшись спиной к

стене дома, у запертых наглухо ворот сидела на снегу женщина. Ирина упала перед ней прямо в снег на колени, и женщина схватила ее за руку жаркой, дрожащей рукой.

Да, эту женщину доставить в родильный было уже поздно: она рожала. Рожала на снегу, в черную замнюю ночь, освещенная вспышками рвущихся снарядов. Ирина огляделась. Все походило на угрюмый вымысел. Снег сыпался за ворот, сильные порывы ветра ударяли в лицо, руки холодели, сердце билось от волнения так, что она слышала его стук. Казалось, никакого Ленинграда нет, есть дикая, темная пустыня, заметаемая зимней бурей под вой вражеских снарядов. Напрасно стучать в эти наглухо закрытые ворота, напрасно кого-то звать — улица пустынна, до утра по ней может не пройти ни один человек.

И тут, в этом мраке, на этом открытом всем ветрам месте, рождается новая жизнь. Надо ее спасти, надо ее отнять у холода, мрака и пушек. Ее ухо больше не слышало выстрелов и разрывов. Она помогала женщине так, будто дело происходило в комнате, так, как это всегда...

...Она высоко подняла ребенка, как бы показывая его всему лежащему во мраке великому городу. Она несла его, прижав к своей груди, горячий всхлипывающий комок, накрыв его своей шубкой. Она шла по снегу, на котором не было еще следа человеческой ноги.

За ней, поддерживаемая санитаром, как большая взлохмаченная птица, тащи́лась роженица. Она падала в сугробы, ее запекшиеся губы шептали: «Я сама...» Санитар, сам усталый, измученный человек, говорил только одно: «Сейчас дойдем, сейчас, уже близко...».

Вьюга бросала им в лицо пригоршни сухого снега. Где-то сыпались дождем стекла после громового удара. Они шли, как победители ночи, холода, канонады. Если бы нужно, это шествие прошло бы через весь город и пронесло бы маленькую новую жизнь, маленького нового человека, явившегося в наш город в такой удивительный час.

Мать знала уже, что родилась девочка. Она иногда протягивала руку вперед, к Ирине, несшей ребенка, точно хотела остановить ее, и снова опускала руку.

Они пришли в родильный дом. И когда женщина уже лежала в кровати и около нее суетились и помогали ей устроиться получше, она подозвала Ирину и сказала строгим, почти суровым шопотом: «Как тебя зовут?».

— А зачем вам это? — спросила Ирина.

— Хочу знать!

— Ирина зовут меня. А к чему вам мое имя?

— Дочку так назову — пусть тебя помнит. Ты ее спасла... Спасибо тебе от души...

И она поцеловала ее три раза... Ирина отвернулась и заплакала, сама не зная почему.

4. МАТЬ

— Пойдем навестим его! — сказала мать, и Оля знала, кого она называет так.

Он — это сын, один брат — Боря, доброволец. Он сказал, что идет в армию вместе со всеми товарищами его курса. Мать стояла перед ним маленькая, прямая, озабоченная.

— Ты близорук и слаб здоровьем, — сказала она. — Ты не боишься?

— Ничего, мама, — ответил Боря.

— Ты никогда не воевал, тебе будет очень трудно...

— Ничего, мама, — сказал Боря, собирая свой мешок.

...Мать с Олей ходили не раз в ту деревню, где он учился военному делу. Он приходил с занятий возбужденный, усталый, запылившийся, загорелый, садился, и они разговаривали о городе, о знакомых, о друзьях. О войне они ничего не говорили, потому что вокруг и так все было полно войной.

Для Оли прогулки к брату за город казались летними прогулками, дачными, обыкновенными, по местам знакомым и пригородным. Они возвращались, собрав в поле цветы, к электрическому поезду и приезжали в вечерний город, полный суеты и военной озабоченности.

Только в последнее время все перепуталось. Фронт проходил уже где-то близко, и Олю беспокоило, как они отыщут брата сегодня, когда все стало непохожим на те воскресенья,

тихие и дачные, в которые они приезжали навещать Борю.

Они шли по полям, уже по-осеннему пустым, дачи стояли заколоченные, навстречу им шли возы, машины, у дороги суетились беженцы с детьми, с узлами, с мешками за спиной, из канавы убитая лошадь подымала деревянные ноги к небу, проходили бойцы, звеня котелками, где-то недалеко оглушительно стреляли.

Они уже далеко ушли от шумного шоссе.

Они шли знакомой тропинкой, но вокруг все было не так и не то: поломанные изгороди, отсутствие людей, какая-то настороженность, тревога, ожидание чего-то грозного. В поле под кустами лежали красноармейцы у пулеметов, замаскировавшись возками, и, когда они вошли в первую деревню, она была пуста, совсем, совсем пуста. Даже воробьи не кувыркались в пыли, ни одной курицы, ни одной собаки. Дым не шел из труб, сиротливо стояли перед домами пустые, покосившиеся лавки, деревня такой была только в белые ночи, перед зарей, когда все спит. Но сейчас никто не спал — это была пустыня.

Оля храбро шла в тишине этой пустыни за матерью, шагавшей тихими, но уверенными шагами все дальше.

Вторая деревня горела. Когда они поднялись на пригорок, они невольно остановились. Рыжие гривы огня металась над крышами, и никто не тушил их. Несколько изб было пре-

вращено в кучу щепок, и это было удивительное зрелище.

Оля потянула мать за рукав, но та сказала спокойно: «Нам нужно пройти к той роще», — и они пошли по улице между горящих домов. Когда они прошли деревню и спустились в небольшую лощину, раздался какой-то все увеличивающийся визг, он приближался так настойчиво и неотвратно, что ушам было больно его слушать. Мать остановилась и нагнула голову. Оля сделала то же самое. Она понимала, что они обе делают не то, что надо броситься на дорогу и лечь лицом к земле, но ведь им надо идти, отыскать Борю, а если они будут падать перед каждым снарядом, то они никогда не дойдут, никогда не увидят его.

Снаряд разорвался за холмом. Фонтан земли медленно опадал в воздухе. Только он осел, другой снаряд ударил. Дальше они бежали, спотыкаясь, по кустам, так как на дороге непрерывно взметались черные клубы, пересекаемые красными молниями. Оля дрожала всем телом, у нее пересохли губы, но мать шла неумолимо, и Оля следовала за ней с нелепой мыслью: в нас не попадут, не должны попасть. Не должны...

Деревни, в которой жил и учился военному делу Боря, просто не было. Вместо нее торчали черные столбы, и кое-где обугленные доски образовали причудливые скопления. Даже деревья сгорели или были вырваны с корнем и валялись среди огромных ям, наполненных мутной, зеленоватой водой.

— Мам, — сказала Оля, — куда же итти теперь?

Мать стояла молча. Оле стало жаль ее, такую маленькую, усталую, упрямую.

— Мама, — сказала она снова, — пойдём домой. Ну, куда же еще нам итти?..

— Пойдем немного вперед, — сказала мать, — там спросим...

И они снова шли. Всюду теперь они видели лежащих в траве, в канавах красноармейцев, смотревших влево. И вдруг им навстречу вышли из маленькой бани три бойца. Мать направилась к ним и радостно сказала одному из них, высокому, худому, веснущатому:

— Если не ощибаюсь, вы — Павлик?

Боец удивленно расширил глаза, мгновенье осматривал внимательно маленькую женщину, стоявшую перед ним, и сказал:

— А вы мать Бори, да?

— Да, — сказала она, — я хочу его видеть. Где мне его найти?

— Найти? — несколько растерянно сказал Павлик. — Идите, как шли, прямо, вот на тот холм, но лучше вам и не ходить... Вам его трудно будет найти, а потом... — он вдруг улыбнулся, — а ведь кругом идет бой, мы почти в окружении, как же вы тут гуляете?..

— Мы не гуляем, — ответила мать, — мне нужно пройти к Боре... Мне нужно...

Она сказала это таким жарким и глубоким голосом, что Павлик — он был из одного института и из одного батальона с Борей — сказал только: «Ну, идите...»

...Мать сидела в высокой траве, прижавшись спиной к бревенчатой стене бани. Оля сидела рядом, затаив дыханье. Красноармеец показывал вниз, на болотистую, длинную поляну, поросшую кустами, кое-где блестели ручейковые светлые извивы. Поляна уводила к лесу, и там, за лесом, на холме, виднелась деревня. Над всей этой местностью стоял, можно сказать, ослепительный грохот. Батарея наша была откуда-то из-за спины по деревне, а немецкие пушки держали под обстрелом поляну и подступы к той возвышенности, где сидели мать и Оля.

— Они только что ушли в атаку, — говорил красноармеец. — Как хотите, ждите или нет. Они пошли вон туда... В атаку...

— Вы знаете Бору? — спросила мать.

— А как же, знаю. Он тоже там...

— А как он стреляет?

— Он стреляет подходяще...

— И не трусит?

Красноармеец, бывший студент, обидчиво повел плечом:

— Если бы трусил, мы его в свою компанию не взяли...

Они замолчали оба. Молча смотрели, как горит там деревня на холме, из лесу был слышен гул голосов, кричавших «ура» или что-то другое — длиннее — слов нельзя было разобрать. Лес, освещенный заревом пожара, казался кровавым.

Мать встала и подошла к краю холма. Она точно хотела увидеть своего сына, найти его

в чаще этого леса, раздираемого боем, увидеть его бегущего с винтовкой туда, в горящую деревню. Она стояла долго.

Потом она сказала Оле: «Пойдем» — и, не оглядываясь, пошла по тропинке к дороге.

— Не будете дожидаться? — закричал красноармеец.

— Нет, — сказала она, — спасибо вам за разговор. Идем, Оля...

Они уже вышли на дорогу.

— Оля, — сказала мать, — ты устала, милая...

— Нет, мама, я боюсь, как мы доберемся. Я чего-то стала трусихой...

Мать усмехнулась своими тонкими губами:

— Ничего с нами не будет. Оля, — сказала она снова, помолчав, — теперь я спокойна. Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что он слаб, что он плохо видит, — я решила проверить. Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой.

И она пошла быстрыми маленькими шагами, маленькая, прямая, легкая...

5. СТАРЫЙ ВОЕННЫЙ

Он был очень стар, и глаза его совсем ослабли. Все стояли у открытых окон, и он подошел, но ничего не видел. Тогда он сказал:

— Скажите мне, что там такое?

— Там над городом, далеко где-то, подымается к небу густой дым. Огромные, как го-

ры, облака белого дыма. И края их розовые от заката. А теперь дым становится синим. Он встает до полнеба...

— Это пожары?—спросил он.—Это немцы?

— Да, — ответили ему.

Зенитки продолжали еще лениво постреливать.

...Он сидел над картами целыми вечерами. Он был старый военный педагог, географ, изобретатель — у него было много карт. Они всегда утешали его разнообразием своих линий, богатством земных очертаний, причудливыми рельефами. Он видел сквозь эти синие узоры и коричневые пятна, сквозь зеленые и желтые полосы жизнь могучей страны, большую, жаркую, свободную, растущую. Он знал, как год от году менялась эта карта.

Но сейчас он смотрел на карты окрестностей Ленинграда, болезненно морщил лоб, взгляд его становился угрюмым и тусклым.

Треск пулеметов был слышен недалеко.

— Нет, этого не может быть, — говорил он. — Нет, это невозможно.

Он взволнованно бросал лупу на карту и ходил по комнате большими шагами.

— И кому отдать? Немцам! Тупым, беспардонным, кровожадным убийцам детей и женщин, фашистам... Да, да, — брюзжал он себе под нос. — Немецкие генералы, эти самодовольные куклы, они организаторы неплохие, они умеют воевать... умеют воевать? — кричал он в следующую минуту. — Авантюристы, все их планы — это разбойничий обман, это рассчитано на то, чтобы ослепить, разоружить,

обескуражить... Не будет этого! Нас не проведешь... Русский народ не обманешь. Не будет вам Ленинграда!

Он ложился на кровать, но сон бежал от его глаз. Он всем сердцем переживал битву, шедшую вокруг города. Он закрывал глаза и видел все эти мирные окрестности, где некогда участвовал в маневрах молодым командиром. Эти тихие уголки исчезали сейчас в дыму пожаров один за другим, и, может быть, страшно подумать, вражеские танки уже прорвались на окраины города. Тогда... он еще в силах бросить гранату, он не спросит, сколько врагов, он плохо видит, это верно, но он спросит: где они? Нет, это невозможно — немцы не будут идти по священным улицам и площадям. Никогда.

Он не ходил в бомбоубежище по тревоге. Воздух сотрясаясь над домом, о крышу звякали осколки, окна дребезжали, дом качало, как будто он был деревянной беседкой, но он только говорил:

— Летайте, летайте, скоро сломаете себе шею...

Битва затянулась. Враг залег у самых стен Ленинграда. Пришла зима. Холодно и темно стало в доме. Слабо трещит, в маленькой железной печурке горели сырые щепки. Старику становилось с каждым днем хуже. Он лежал под старым измятым одеялом, и вся жизнь проходила перед ним. Это была долгая, трудовая, интересная жизнь, и, если бы не годы и не лишения, он бы еще протянул долго. Но сейчас слабость сковывала его руки и ноги и

даже дрова для маленькой печурки ему кололи: сам он очень скоро уставал от этой, стыдно сказать, детской работы.

Он думал только о городе, о великом, неповторимом, чудесном.

В минуты сентиментальные, когда думалось как-то особенно грустно об ушедшей жизни, он вынимал из ящика стола золотые часы и держал их в руке. Эти часы были наградные. Он получил их за работу на высших курсах милиции, где долго преподавал, где много обучил молодых, сноровистых, лихих милицейских командиров... Он то вспоминал их улыбающиеся лица, их молодой задор, их шумные беседы, то вдруг он видел себя молодым, на коне, в горах, у пенистых потоков, на высотах Кавказа — любознательным картографом, путешественником, историком горных войн... Давно это было...

Он сильно слабел. Даже ложку, когда он ел суп, ему держать уже было трудно. Его кормила дочь, она же рассказывала ему фронтовые новости.

— Отступают, все отступают, — говорил он с тяжелыми вздохами и мучительно смотрел на дочь почти слепыми глазами.

— Старик протянет недолго, — говорили жильцы в квартире.

...В это знаменитое утро женщины, разводящиеся примусы в своих комнатах, и дочь старого военного слышали странные звуки. В комнате старика звенела пила, потом застучал топор, потом послышалась песня... Да, там кто-

то пел песню. Слов нельзя было разобрать, да и вряд ли у этой песни были слова. Это было какое-то самозабвенное, довольное урчанье.

Все знали, что старик лежит под своим ветхим одеялом, тихий, обескураженный, слабый.

Дочь подошла к двери и не сразу открыла ее. Когда же она открыла, она увидела, что ее древний, больной отец пилит какую-то доску и поет. Да, это пел он. Он пел, и глаза его сияли; и хотя на его худых широких плечах было накинуто старое, рваное пальто, он был величественен, как патриарх.

— Что с тобой, отец? — с испугом спросила дочь. — Почему ты встал? Зачем ты пилишь? Тебе же трудно!

Он посмотрел на нее и сказал медленно ясным и громким голосом:

— Ты слышала сегодня радио...

— Нет, — ответила она.—А что сообщали?

И вдруг старик почти подпрыгнул с пилой в одной руке и с доской в другой.

— Ты не слышала, ты не слышала! Весь мир уже слышал, а ты не слышала. Немцев разбили под Москвой — наголову, в дым, вдрызг... Авантюристы несчастные! Я давно говорил, что они только могут по-разбойничьи воевать. Разве это тактика? Это — нахальство, это — бандитизм. Дочка, они разбиты, понимаешь. Ленинграда им не видать никогда. Я не мог больше лежать. Я вскочил, когда все это прослушал. Я вскочил, чтобы закричать: да здравствует победа! Ведь это нельзя кричать лежа, понимаешь, дочка!

6. ДЕВУШКА

Неуклюжая тетка в большом байковом платке набежала на нее в темноте, испуганно вскрикнув:

— Ай, кто это здесь?

— Я! — сказала девушка, сидевшая на ступеньках. — Это я — Поля.

— Чего ж ты не бежишь-то... Ведь тревога гудит! Сейчас бомбы тебе на голову пустят.

— Вот я их и жду... — спокойно сказала Поля.

— Чего ж их ждать-то, спасайся в убежище.

— Моя служба такая. Иди, иди, тетка, а то и вправду тебя зашибет...

— И пойду. А она, ишь сидит на ступеньках — бесстрашная какая...

— Я не бесстрашная, я — разведчица.

Поля сидела на ступеньках и во все глаза следила за небом, на котором пересекали друг друга прожектора, лопались ракеты, повисавшие красными пучками, золотые нити трассирующих пуль уходили в синий купол, и над всем стояло прерывистое, враждебное гудение летавших над городом самолетов. И, всем телом сжавшись, ждала она того страшного завывания, гула и огненного плеска, который должен сейчас возникнуть, и Поля первая бросится туда, чтобы просигнализировать в штаб местной обороны, куда ударила бомба.

Втянув голову в худенькие свои плечи, за-

крыв глаза, слушала она нарастающий вой. Раскальвающий голову удар пронесся по улице. Теплая волна ударила в уши, толкнула в грудь. Поля вскочила, шатаясь, и уже бежала по улице туда, где только что упали стены и еще стояло не рассеявшись облако дыма. Свежие развалины вставали в темноте ночи. Зубцы изорванной стены чернели высоко над девушкой, улица была усеяна обломками, битым стеклом, каким-то невообразимым сором. Через минуту она уже звонила из соседнего дома о размерах бедствия. И сейчас же бросилась в тьму развалин, откуда слышались крики, стоны, вопли.

Так было изо дня в день. Никто быстрее ее не обнаруживал очага поражения, никто не умел так самозабвенно работать, так ухаживать за ранеными, так проводить целые ночи среди шатающихся стен, рушащихся балок и людей с перекошенными лицами. Особенно умело она откапывала детей.

Иногда, обтирая пот обратной стороной ладони, она садилась и смотрела на работу спасательных команд как будто со стороны. Развороченные дома, темный город, мелькающие в руках людей маленькие фонарики — все ей казалось невесомым, несуществующим, невозможным.

Ведь были какие ночи — мирные, веселые, с огнями трамваев, с песнями, танцами, молодежью... Да, все это было. Все это будет. А сейчас...

— Что же это я засиделась! — кричала она

себе и вскакивала и снова помогала таскать, разгребать щебень, работать киркой и лопатой.

Она стала удивительно спокойной, твердой в решениях, крепкой нервами. Ее ничто не могло уже удивить.

Раз, прибежав, она увидела при лунном свете, как высоко над грудой рухнувших этажей, точно в воздухе, стоит женщина в одной рубашке, прижавшись к остатку стены, в углу, случайно уцелевшем на пятом этаже. Женщина стояла, как статуя, как мертвая, упершись руками в куски стены справа и слева. И Поля смотрела, не отрываясь, на белое пятно ее рубашки. Она думала только о том, как бы поскорее ее оттуда достать и как это сделать.

Другой раз прямо на нее бежала молодая с растрепанными волосами женщина, прижимая к груди ребенка. Испуганная взрывом, вне себя от страха за ребенка, она могла бежать так через весь город. Поля схватила ее в объятия, погладила по голове, сказала:

— Вот и все!

— Что все? Что все? — забормотала женщина.

— Все,— сказала Поля,— уже все! Больше страшно не будет. Сядь, отдохни. Сейчас я тебя укрою...

И она отвела сразу успокоившуюся женщину на санитарный пост.

Сколько она перетаскала раненых, ушибленных, искалеченных, эта хрупкая девушка с большими, слегка удивленными глазами, скольких успокоила, ободрила, даже рассмешила

своими острыми словечками, сказанными кстати!

— Скоро юбилей будешь праздновать, Поля,— говорили подруги,— у тебя уже к сотне спасенные приближаются.

Бомбежки сменились бомбардировками. Это было не так шумно, но подбирать раненых на улице в темноте, под визг осколков и свист проносящихся над головой снарядов было делом нелегким. Но она подбирала, десятки раненых перетаскала она на своей спине.

Огневой налет в тот отвратительный холодный ветреный вечер был особенно жестоким. Поля прижалась к стене, за ящиком с песком, и над ее головой осколки ударили в дом. Посыпалась кирпичная пыль, по мостовой запрыгали куски штукатурки, выбитые стекла. Потом кто-то застонал почти рядом. Улица была пустынна. Редкие пешеходы лежали на земле, вставали, бежали в дома или снова прижимались к мостовой.

Поля прислушалась. Стон был действительно рядом. Она осторожно перебежала туда. Пламя нового снаряда осветило улицу. Она упала. Снаряд попал в тротуар, и звон удара долго жил в ушах. Сердце колотилось. Поля увидела лежащего у дома паренька. Где она его видела раньше? Ну, конечно, весной на футбольном матче. Изумрудная лужайка. Смех вокруг. Разноцветные майки. Молодость. Солнце. Яркая музыка. Теплый, ясный день с курчавыми облаками, и этот парнишка, которому приятели кричали:

— Эй, ты, хавбек! Держись!

Сейчас он лежал без памяти, но когда Поля нащупала его рану,— он был ранен осколком в бедро,— он очнулся и застонал еще сильнее. И она сказала, перевязывая его:

— Эй, ты, хавбек! Держись! Слышишь?

Парнишка замолчал, и она помогла ему встать. Но идти он не мог. Он почти навалился на нее, и она тащила его во тьме, рассекавшаяся красными длинными мечами.

Но, вероятно, этот удар расколол пополам улицу и все дома и все вокруг, потому что Поля потеряла сознание. Она лежала на мягкой зеленой лужайке, и ей теперь говорил незнакомый голос: «Эй, ты, хавбек, держись!». Но она не могла ни смеяться, ни даже пошевелиться. «Это мой 98-й раненый»,— подумала она почему-то и снова потеряла сознание. Но в руке она держала руку того, лежащего молча рядом.

И когда над ними наклонились люди, Поля сказала чистым, звонким голосом: «Возьмите его, он тяжело в бедро...» — и не договорила.

— Ноги,— сказал кто-то в темноте,— она ранена в ноги.

Она не слышала. Она говорила кому-то на мягкой зеленой лужайке:

— Мне холодно, какая зеленая холодная трава...

Больше она ничего не видела в эту ночь...

...Но она осталась жива. Когда она впервые пришла в себя, был действительно мягкий солнечный день, и в окно глядели большие зеленые сосны.

Он быстро шел по обледенелому тротуару, погруженный в свои думы. Изредка он кидал взгляд на дома, темные, вечерние, зимние дома военного времени. Иногда он проходил мимо развалин, не замедляя шага. У одного только здания с широким входом он задержался невольно. В этом доме помещался Детский театр. Сколько шума, веселой суетни, гама и восклицаний знали эти стены! Сколько восторженных, сияющих глаз смотрели на сцену, какие овации вырывались из сердец маленьких зрителей и как дорожили этим детским вниманием взрослые — талантливые актеры этого прекрасного театра!

Теперь все было пусто и мрачно. Только клочки афиш, обледенелые, разноцветные куски бумаги трепал ветер, пробежавший по темной улице. Режиссер вздрогнул и ускорил шаги. Он ясно представил себе артистов, еще недавно весело шутивших, сидевших перед большими зеркалами, гримировавшихся, повторявших роли с таким же увлечением, с каким там, в зале, следили за их жизнью на сцене маленькие люди большого города.

Иные из этих артистов уехали, а иные... Он вспомнил с жестокой ясностью двух, которые работали в его бригаде на фронте. Какая простая стала жизнь! Они сумели быть артистами в тесных блиндажах,

где суровые, с обветренными лицами бойцы высоко ценили их искусство. Они вступали с площадки грузовика, среди больших снежных полей, они играли на просторстве в несколько метров в землянках, они были веселые, хорошие люди, простые сердца и фамилии у них были простые: Семенов Емельянов... Они пробирались под визг мин под оглушительный рев снарядов по ходам сообщений, перебежками по полю на передовые, они не отступали перед опасностью.

Они умерли одновременно в тихое зимнее утро, и другие артисты с железной дисциплиной людей искусства без них провели бригадное выступление.

Режиссер сам видел, как два черных смерча поглотили их и как покраснел снег на том месте. Да, все стало просто, как этот темный город, который когда-то весь сиял и переливался огнями. Вот это и есть новая классика, о которой спорили, которую не могли ясно представить. Величественная простота вечера, темных зданий, пустынных улиц — и такая же простота жизни и смерти.

Режиссер внезапно ускорил шаги, так как он увидел, как шедший впереди него пешеход покачнулся и стал взмахивать руками слабыми движениями утопающего. Режиссер добежал до него и подхватил под руку. Пешеход упал головой ему на плечо, и они так стояли несколько мгновений. Режиссер увидел старика, с исхудалым лицом, большими лихорадочными глазами,

жадно глотавшего воздух широко открытым ртом.

Наконец, старик, покачнувшись еще раз, несколько пришел в себя. Он взглянул на пришедшего к нему на помощь и сказал тихим хриплым голосом:

— Простите меня великодушно — я ослабел...

— Вы далеко живете? — спросил режиссер.

— Нет, — отвечал старик, опираясь на него, как на великана, и действительно, режиссер казался великаном рядом с тщедушным, тонким, почти призрачным стариком.

— Нет, — повторил старик. — Я живу вон в том доме, в конце улицы...

— Я провожу вас, — сказал режиссер: — мне по дороге.

Он взял старика под руку, и они отправились.

Старик шел, вздыхая и что-то шепча. Режиссер поддерживал его бережно, как больного отца. Так они молча, спотыкаясь на льдистом тротуаре, дошли до ворот дома, до под'езда, черного, как пещера.

Старик сказал: «Здесь» — и прислонился к дверям под'езда. Режиссер стоял против него. Старик медленно поднял голову, осмотрел улицу, взглянул на темное холодное небо и пристально всмотрелся в своего спутника.

— Молодой человек, — сказал он, и бледная тень улыбки появилась на его тонких,

почти черных губах,— знаете ли вы, в каком городе вы живете?

Режиссер молчал. Старик приблизил свое исхудалое лицо к его лицу.

— Вы живете в Илионе,— сказал старик громко.

— В Илионе,— повторил режиссер,— почему вам пришла эта мысль сравнивать наш город с Троей древних?..

— Простите меня, я — старик, я старый преподаватель древней истории... Я не знаю города, легенда о котором была бы так величественна, как легенда о Трое, и только наш город сегодня, не кажется ли вам, не только сравнялся с Илионом, но... — сказал он совсем тихо,— но и превысил его своим героизмом...

Режиссер ответил не сразу. Они стояли друг против друга в безмолвной тишине у входа, черного, как пещера, и, как крепостные стены, подымались дома вокруг них.

— Пожалуй, вы правы,— сказал режиссер,— но в нашей Трое не будет троянского коня! Не будет — никогда!

Они горячо пожали друг другу руки, взаимно пожелали спокойной ночи и расстались.

8. ЛЬВИНАЯ ЛАПА

Юра не принадлежал к тем мальчикам, которым все время говорят взрослые: не нутайся под ногами. Нет, он хоть и был мал, ему было всего семь лет, но он пропадал по

целым дням в парке, или на улице, или в зоологическом саду. Зверинец был перед его домом через дорогу. Он часто забирался в сад, и ему очень нравились звери.

Но ему было страшно стыдно сознаться, что больше всего он любил большого гипсового льва, стоявшего на столбе у кассы перед входом в сад.

С тех пор, как он его увидел первый раз, он уже не мог относиться к нему равнодушно.

— Он охраняет сад, чтобы зверям не сделали худа разбойники, — да, мама? — спросил он однажды мать.

— Да, да, — рассеянно ответила она, и он остался очень доволен, что мать не спорила с ним в таком важном вопросе.

Большой гипсовый лев гордо возвышался над входом, и всякий раз Юра приветствовал его дружески и почтительно.

...Над городом выли сирены, и матери, волнуясь и спеша, собирали детей и загоняли их в бомбоубежища. Юра сидел в подвале на скамейке, и его маленькое сердце ёкало. Страшные, неведомые ему грохоты ясно доносились сюда, в большой, низкий подвал. Иногда подвал вздрагивал, как в испуге, что-то сыпалось вдоль стен снаружи, доносился звон разбитых стекол.

— Вот разбойники прилетели опять, — говорили женщины возмущенно; старухи крестились при каждом особенно громком разрыве.

Вдруг дом трянуло так, точно кто хотел его вырвать из земли вместе с фундаментом

и подвалом, как дуб с корнями, но потом раздумал и только очень сильно покачал.

— Это близко упала, — сказала юрина мать, — может, даже напротив...

И она не ошиблась. Когда тревога кончилась, все бросились смотреть, куда упала бомба. Юра побежал вместе с матерью. Бомба упала в зоологический сад, убила слониху, ранила обезьян, и испуганный соболь бежал по улице, вырвавшись на свободу, — рассказывали любопытные.

Но Юра, плача, кричал одно: «Мама, лев!».

Столько отчаяния было в этом юрином вопле, что мать невольно взглянула, куда указывал Юра. Его прекрасный кумир — большой гипсовый лев — лежал на боку, положив огромную белую голову на лапу. Задних ног у него не было. Одна передняя лапа была раздроблена, но грива осталась такой же царственной и взгляд его был строг и неподвижен, как всегда.

— Мама, разбойники убили его! — кричал Юра. — Мама... он сражался с ними...

И он бросился что-то искать у подножья столба, избитого осколками. Он рылся в обломках, и слезы текли неудержимо из его голубых глаз. Он что-то все-таки отыскал и теперь судорожно прятал в карман.

— Юра, что ты там делаешь! — сказала мать. — Что ты там в грязи копаешься. Перемажешься только, брось сейчас подбирать всякий мусор...

Юра не мог уйти. Он все ходил кругом

столба и смотрел на лежавшего на боку льва, как будто хотел запомнить на всю жизнь этого бедного безмолвного зверя, стоявшего у входа в сад и сторожившего покой зверей несколько десятилетий. Юру не привлекали воронки, разломанный забор, перевернутая будка, касса, от которой осталось несколько столбиков, ни даже песец, бегавший где-то тут, в парке, между кустов. Он смотрел только на льва.

Однажды вечером к юриной маме пришел запыленный военный. Он сидел за столом, пил чай, и Юра смотрел на него усталыми глазами, которые слипались все больше с каждой минутой. Он так набегался сегодня, что плохо уже слышал, что рассказывает военный. А военный рассказывал о фронте, о том, какие там бойцы, как они бьются с немцами, какие совершают подвиги, он рассказывал о мамином брате, получившем орден Красного Знамени. Мама заметила, что Юра совсем валится со стула сонный и усталый, и она повела его спать. Уже раздевшись, сидя на постели, он сказал:

— Правда, что дядя Миша получил орден Красного Знамени?

— Правда, он сражался, как лев, вот ты вырастешь, будешь таким же храбрым. Дядя Миша придет — тебя научит воевать...

. — Мама, — сказал он, — он сражался, как тот лев...

— Какой тот? — спросила мать. — Это все-

гда говорят так, когда храбро сражается красноармеец,— как лев...

— Ну, значит, он сражался, как тот лев,— отвечал, не слушая ее, Юра.— Значит, хорошо сражался... Я буду тоже так сражаться...

— Ну, спи, спи,— сказала мать.— А то еще тревога будет, надо до тревоги выспаться...

Тревоги стали теперь постоянным явлением. Юру не всегда удавалось загнать в подвал. То он пропадал где-то на улице, то вылетал на крышу, пробравшись на чердак, то дежурил на санитарном посту. Он уже привык к зениткам, к качанью дома, к глухим ударам бомб.

— Где ты пропадаешь? — спросила его мать.— Ищешь, ищешь тебя — нигде нет. Не смей далеко от дома отходить. Без отца совсем распустился. Вот отец с корабля вернется — он с тобой поговорит. Совсем от рук отбился.

— Я у нас за домом баррикаду строю...— сказал он серьезно.

— Какую баррикаду?

— Уже на Большом строят, мама, баррикады. Я сам видел, и мы строим. Я сговорился с мальчишками...

Через три дня после сильного налета его принесли оглушенного взрывом бомбы. Мать, бледная, с растрепанными волосами, дрожащими руками раздевала его. Он лежал тихий, но уже пришедший в себя. Его только толкнуло слегка воздухом и бросило оземь.

— Я смотрел баррикаду за домом,— сказал он тихо виноватым голосом.— Я жив, мама, ты не бойся.

Мать вытряхивала из его карманов всякую всячину, ища его платок.

— Что у тебя за дрянь в кармане всякая,— сказала она, вытаскивая большой, ставший уже серым кусок гипса.

— Мама! — закричал Юра. — Не трогай. Это львиная лапа. Оставь. Это мне нужно. Это у меня на память.

Мать удивленно смотрела на кусок гипса. Действительно, на нем был ясно заметен большой полукруглый коготь.

— Зачем тебе это? — спросила мать. — Это ты там в мусоре отыскал?

— Это на память,— сказал он, хмуря свой маленький лоб.

— Да зачем тебе на память — не понимаю. Юрик, маленький,— нежно сказала мать.

Он покраснел и сказал:

— Я отомщу за него... этим разбойникам! Пусть только мне попадутся. Я им припомню....

9. СЕМЬЯ

— Даша, иди-ка, мать, сюда, разговор один есть, — сказал Семен Иванович.

Даша посмотрела на мужа так, как будто видела первый раз перед собой этого широкоплечего, серьезного человека с неторопливыми движениями и суровыми глазами, давно уже

не улыбавшегося и не отпускавшего шуток по ее адресу. Она вытерла руки о передник, села на стул и сказала, отводя взгляд куда-то в угол:

— Да знаю я твой разговор, Семен.

— Знаешь? Откуда же ты знаешь?..

— Сердцем чую... Ну, уж говори...

— Притвори дверь, чтоб Оля не слышала...

— Оля ушла за водой, а я тебе сама под-скажу; ты только меня поправь, если что не так... Я ведь видела, как ты после смерти Кости мучаешься. Ну, что же, Костя погиб, защищая Ленинград, хорошей, чистой смертью умер, а этим фашистским выродкам надо мстить, Семен Иванович, надо мстить ежедневно, ежечасно... Чего они творят, мерзавцы, не перескажешь, язык не поворачивается — такой страх; презираю я их и ненавижу — за Костю, за брата, мстить им хочешь, на фронт решил. Да? Права я?

Семен Иванович ударил ладонью по колену, встал, подошел к ней, обнял ее, поцеловал, сказал:

— Эх, ты, угадчица. Правильно, все так и есть. Чтобы не раздумывать, я уж и бумаги оформил. Вот, мать, какие дела — одним бойцом больше стало. Не могу я работать — душа кипит. А я старый солдат — империалистическую всю прошел, стрелять не разучился. Только, мать, времени у меня мало. Собири, что там нужно со мной вещишек...

— Все будет в порядке, — сказала тихо Даша. Она подошла к окну и взглянула на

улицу: не идет ли Оля. На улице было множество людей, как в праздник. Все шли пешком, потому что трамваи не ходили. Люди тащили саночки с дровами, с какими-то мешками, на иных санках сидели старики или старухи, закутанные в платки, обмотанные шарфами.

Воду везли тоже на санках. Ее везли в детских ваннах, в бидонах, в ведрах, в жестяных ящиках. Люди скользили на мостовой, вода выплескивалась и замерзала ледяными языками. Мороз был жестокий. Порывы ветра налетали с залива, бросали в глаза людям пригоршни колючего снега, ледяной пыли. Люди обвязали себе лица до рта черными повязками и шли, как бы в полумасках, как ряженые. Даша некоторое время смотрела на пестрые толпы, двигавшиеся беспрерывно. Под полумасками намерзали от дыхания ледяные кружева. Белый пар клубился изо рта пешеходов. Трудно было увидеть Олю с ведром в густоте этого человеческого потока. Оля должна притти с минуты на минуту.

— У меня тоже есть разговор, — сказала отвернувшаяся от окна Даша. — Я тоже решила: раз ты на фронт — я тебя заменяю. Не перебивай меня, Сеня, послушай, что я скажу. Город наш в осаде. Нивесть какие мученья люди принимают. Город фронтом стал, — в газетах нынче пишут. И это правда. А если так — ты уходишь за брата мстить немцам, я на твое место встаю. Я еще женщина крепкая, выдержу, — не беспокойся. Я понятливая — работу люблю. Тебя не подведу. Сты-

даться жены не будешь... Дело понимаю. Ведь я с завода-то ушла только из-за детей...

— А сейчас? — сказал Семен Иванович.

— Что сейчас?

— Да ведь Петя мал еще. Да и Оле всего двенадцать. Слабенькая она. Как же дети-то будут, если я и ты из дому уйдем вместе? Завалится дом,—мать, ты подумала об этом?

— Подумала, — хорошо подумала, Сеня. И вот что я надумала: отправлю детей на Пороховые, там у меня подруга старая есть—у ней тоже погодки с моими, попрошу ее их пригреть. Вот тебе и руки свободные. Не те времена, чтобы думать о семейной жизни. Может, увидимся, а может, и нет. Да и дома наши враг рушит. Надо бороться с ним, нечего руки сложа сидеть. Никто за тебя драться не будет—сама дерись... Правильно я говорю, Сеня?

— Правильно, мать, — сказал Семен Иванович, — хорошо говоришь.

Вошла Оля. Оставив ведро с водой на кухне, она сразу, чтобы погреться, вошла в комнату, прошла к маленькой печурке и стала греть озябшие, маленькие, посиневшие руки. Какими-то необычными показались ей сегодня отец и мать.

— Мама! — сказала она. — Отчего вы такие, ну, отчего вы такие? Что случилось? Кого еще убили? Нет, правда, вы что-то скрываете?..

— Нечего нам от тебя, девочка моя, скрывать, — сказала Даша, — вот раздевайся и слушай внимательно, что мы тут решили. —

И скороговоркой, набрав сразу дыхания, она сказала: — Отец на фронт идет, а я на завод, а вас отправляю к тете Леле на Пороховые... Вот, дочка...

Оля подбросила в печурку два полешка и сидела перед печуркой, смотря в ее низкий, неохотно разгорающийся огонь. Не подымая головы, она спросила:

— А нас с Петькой зачем на Пороховые?

— А кто же в доме, девочка, управляться будет? И в очереди за хлебом ходить, и дрова доставать, и воду таскать, и Петю кормить. Он вот вернется от соседских ребят — надо за ним посмотреть, последить... Кто же тут управится, если меня не будет...

— Мама, не пойдем мы с Петькой на Пороховые, не люблю я тетю Лелю. Ну ее к богу. Она ворчит, ворчит целый день... А кто тут управится? — Я управляюсь!

Она вдруг встала, резко сбросила шубенку с худых, почти мальчишеских плеч, тряхнула головой и начала говорить:

— Плохо я сейчас управляюсь? Воду ношу, подумаешь, дрова я знаю, где брать, мне Валька из семнадцатого поможет, печку растопить — подумаешь, какие разносолы на обед, за хлебом — с той же Валькой по очереди будем стоять; Петьку я и так каждый день кормлю. Не думай, что я маленькая. Теперь маленьких нет. Все мы большие. Идите оба, раз нужно, — идите. Ты же домой приходить будешь? Будешь?.. Ну и ладно! А трудно мне будет — подумаешь, всем трудно.

Ни на какие Пороховые я и не двинусь. Вот, мама, так и будет, мамочка, дорогая, все хорошо будет. Дай я тебя поцелую... Вот и все, подумаешь...

10. ЯБЛОНЯ

В бомбоубежище погас свет. Оно сразу наполнилось криком и шумом отодвигаемых скамеек и стульев, потом какой-то голос прокричал:

— Тише, товарищи, сидите спокойно!

И люди стали сидеть в темноте. Налет длился уже несколько часов. Художник сидел на складном стуле, с которым он выезжал на летние этюды. Сейчас этот легкий трехногий, его собственной конструкции стул очень пригодился. Художник жил в маленьком домике, одноэтажном, старом, одном из тех многих ветеранов, какие еще стоят на широких улицах Петроградской стороны. Перед домиком был сад и в саду старый запущенный фонтан со ржавой трубой и гранитом, покрытым мхом. Сейчас глубокий снег скрыл его, и художник менее всего думал в эти часы о домике, саде и фонтане.

Его сознание смутно регистрировало разговоры соседей, восклицания ужаса и удивления, плач детей. Плотный, черный мрак закутал его с головой, как плащ.

— Надо было давно уехать,— сказал кто-то раздраженно, и он подумал: да, в самом деле, какая глупость, что он не уехал. Никакой трусости в этом нет. Он сейчас рисует плакаты, и они пользуются успехом, они ви-

сят на улицах и в клубах, в землянках на фронте,— это верно. Но ведь он мог их рисовать не обязательно в Ленинграде. Да и условия работы здесь стали почти нестерпимо трудными. Холодная мастерская, окоченевшие пальцы плохо держат карандаш, печурка ничего не греет, никак не можешь согреться. Бомбоубежища у него в маленьком домишке, естественно, нет, он бегаёт в соседний огромный дом отсиживать долгими часами, он простужен, устал, кашляет, недоедает уже давно. Руки покрылись какой-то корой от холода. Это ревматизм или что-то вроде. Ему трудно ходить на большие расстояния от дома до союза художников, трамвая нет, вот и свет погас. А ему рассказывали, что стоит отъехать на Волгу, и там города, залитые светом, теплые комнаты, есть в изобилии еда, там живут его товарищи, которые во-время уехали... Да, да, какая глупость сидеть здесь в темноте, в холоде, в голоде — и ждать бомбы на голову...

Время от времени дом содрогался сверху донизу, и тогда все затихало, а потом несколько минут царил дикий галдеж. Понемногу восстанавливалось спокойствие. Мрак, казалось, сгущается еще больше. Художник потерял представление о времени. Он вошел в подвал вечером, сейчас уже, вероятно, поздно. Налет безобразно затянулся. Опять долетел гул удара, опять и опять... Бросают бомбы,— тоскливо подумал он. Вот и город, который он так любил, изменился. Его жалко

до боли, до слез. Как все это мрачно и грустно. Вот сейчас кончится эта тревога — он выйдет на улицу и, может быть, увидит новые развалины домов, пожары, груды обломков... Эти квартиры, где висят в воздухе кровати и шкафы, зацепившиеся за балки, — жалкий инвентарь человеческого быта, неустойчивого, случайного...

Тонко заплакал в углу невидимый ребенок. Художник стал представлять себе сквозь мрак эту детскую головку с широко открытыми глазами, полными слез. Может быть, он спал и проснулся, заплакал, испугавшись темноты. Нарисовать бомбоубежище — вот почти такое, только освещенное свечами. Это дрожащее пламя, пробегающее по лицам, черные тени на стене, настороженные фигуры, старухи, кутающиеся в старые шубы, молодые люди, шушукующиеся в углу, дети, которых прижали к груди молодые матери...

Свет блеснул на лестнице, и со двора донесли в открытые двери звуки отбоя. Тревога, наконец, кончилась.

Художник не торопился выходить. Он подождал, пока толпа втянулась в узкий проход, и ушел почти последним, ощупью, держась за холодные стены.

Он боялся, что он увидит развалины вот сейчас, тут же рядом. Он думал, что он, так же спотыкаясь, проберется к своему маленькому домику, до которого два шага.

Он вышел на улицу и остановился, недоумевающий и растерянный.

Все было залито ослепительным, могучим лунным светом. Огромная почти фиолетовая луна в морозной дымке висела над брандмауэрами, в высоте зелено-синего неба, на котором расположились курчавые, белые, как отары белых мериносов, облака. Небо, казалось, звенело от холода и света. Пустые стены больших домов, выходявших на пустырь, были, как бронзовые. Снег сладко хрустел. Атласноголубые тени лежали на богатых сугробах вдоль улицы. Такая обычная, она сияла неизвестной прелестью.

Он шагнул к своему домику и не мог узнать места. Он очутился в саду, который был сказочен, как сон. На деревьях лежал иней в три пальца толщины. Каждая веточка была как бы отделана искуснейшим мастером, искрилась, источала сиянье, непонятные огоньки бегали по верхушкам, где лежали соболиные шапки снега, казалось, деревья одеты для торжественного танца, и они сейчас поведут хоровод вокруг художника, сомкнув свои сверкающие руки и потряхивая алмазами во все стороны.

Посредине этого чудесного сада стояло дерево обворожающей красоты. Все, что украшало другие деревья, блески, сиянья, искры, алмазы,—все было приумножено на нем и все достигало совершенства, какого не могут сотворить человеческие руки. Дерево горело холодным, изумительным огнем, оно, как белый костер, выбрасывало снежное пламя, и пламя это ни на мгновение не прекращало своей огненной игры.

Художник стоял, ничего не понимая, погруженный в немое созерцание. Он не узнавал места, не мог понять, как же он очутился в саду и где он вообще находится.

Он оглянулся. По улице шел народ. Слышался молодой смех и веселое скрипение снега. Он снял шапку и секунду стоял с закрытыми глазами. Он пришел в себя. Раскрыв глаза, он как бы вернулся на землю. Он стоял в собственном саду, пройдя прямо к фонтану, занесенному снегом. Как же он миновал забор, огораживавший сад? Забора никакого не было. Могучая воздушная волна взрыва унесла его, разбросав далеко по улице, начисто смела все эти старые, дырявые доски. Дерево ослепительной красоты была его знакомая, старая яблоня, стоявшая всегда скромно у фонтана.

Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой колдовской луной. Прекрасный город вставал вокруг него в неизмеримой, в неповторимой красоте.

Художник смотрел на него, как будто родился заново. Все его мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепия! Разве отсюда уедешь? Никогда и никуда.

Этот город надо защищать до последнего вздоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врага, надо истребить его без остатка, а уехать — нет, никогда! И художник все стоял и смотрел и не мог насмотреться и надивиться, полный великой радости и гордости.

Издательство «Правда».

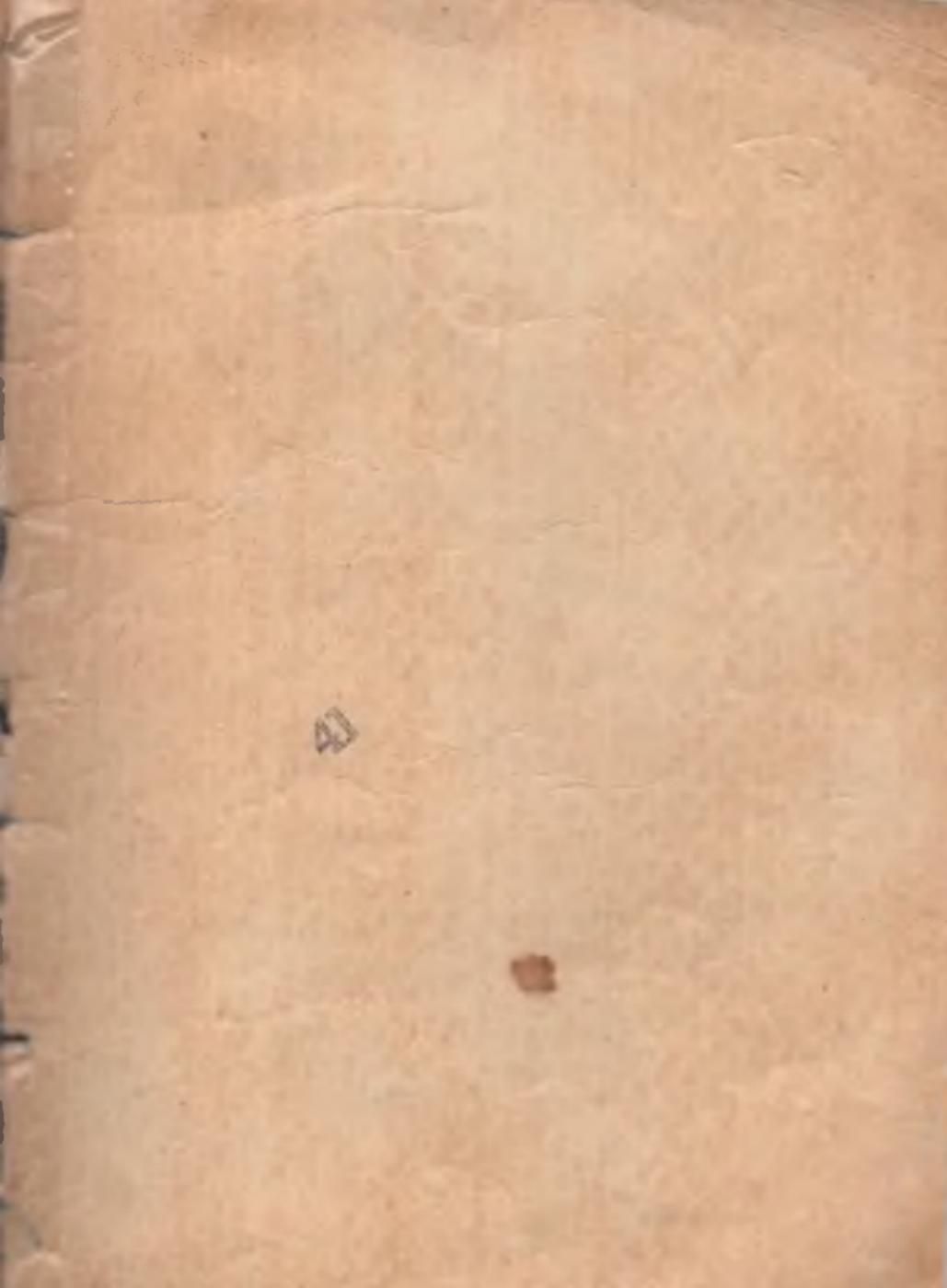
Б 25958. Подписано в печать 26/III 1942 г.

1/32. 1 печ. л. 26 тыс. экз. в 1 п. л.

Тираж 100 тыс. Зак. 893.

**Типография газеты «Правда»
имени Сталина.**

Москва, ул. «Правды», 24.



2-50

25 коп.